

ИДЕОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА

Борис Ихлов

С КЕМ ВЫ...

Лира западная продажна, считал Александр Пушкин, потому что поэты происходят по большей части из бедного сословия, они вынуждены продаваться богатым. Российские поэты не продажны, свободны, из дворян, “одной крови с царем”. Вяземский замечает, что ему странно и больно видеть, как дворянину, что Пушкина – тоже ведь дворянина! – всегда можно обнаружить согнутого в поклоне рядом с богатым, перспективным графом Орловым. Ну, и что, пишет Вяземский, “мы любим Пушкина таким, какой он есть”. Позднее Пушкин определит: “Дурь голубой крови”.

“Ярем он барщины старинной оброком легким заменил, и раб судьбу благословил...” “И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в наш жестокий век восславил я свободу...” “...И на обломках самовластья напишут ваши имена...” А что стоит “Гаврилиада”, за которую Пушкин просил прощенья у царя.

Однако Пушкина в демократизме не упрекнуть. Белинский, Герцен долго не могли простить ему ни замашки крепостника, ни послание Мицкевичу, отзыв на польское восстание (“Клеветникам России”).

И все же характерно отношение умного, глубокого Пушкина к “собственному”, российскому восстанию Пугачева. Собрав множество материалов, превосходно зная, мягко говоря, непривлекательную личность Пугачева, он пишет не только “Историю Пугачевского восстания” (“бунта”, как указал заметить царь), где уже в дополнительных материалах подчеркивает доброе отношение к Пугачеву простого люда, но и “Капитанскую дочку”, где вместо “массового человека” (Х. Ортега-и-Гассет) мудрый народный покровитель.

“Революция начинается умеренными, совершается непримиримыми, завершается реставрацией”, - цитирует в указанной работе Ортега (Интересно различие между цитированием Ортеги и высказыванием Энгельса в письме Вере Засулич: революцию задумывают гении, осуществляют фанатики, а плодами пользуются проходимцы).

Что ж, действительно, ничего, кроме беды, не принесло восстание масс? В период франкистского режима (фашизма, к которому плохо относится Ортега) Долорес Ибаррури обратилась к “массовому человеку”: “Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!” после подавления Пугачевского восстания поднялись заработки на Уральских заводах. Испанский философ, возможно, не знал.

В своей работе Ортега постоянно определяет: “чернь”. Пушкин же, описывая характер человека “твердых устоев и добрых правил” (можно добавить; следуя Ортеге, уважающего “свод правил... и основы законности”), раскрашивает: “Кто черни светской не чуждался... о ком твердили целый век: NN - прекрасный человек...” Еще определенной выразился Александр Блок: “Некрасов был страстен, но барин...”

Может быть, действительно, это неприятие элиты и виноватое отношение к низам – удел, специфика России, страны, поляризованной (напрашивается: “парализованной”) полем европейской культуры, которое разорвало, расслоило российское общество после войны 1812 года, явилось одной из причин восстания декабристов? Расслоило общество уже тем, что усилило рост благосостояния верхов по сравнению с низами? Стало причиной народничества, воплотившегося в блоковской идее самосожжения ради народа? Российская литература XIX века прочно заняла место “неконструктивной” оппозиции, Запад называл ее дидактической, поучающей. Во всяком случае, какого-либо подобострастия, пиетета, даже уважения к дворянству, купечеству, верхам в русской литературе вообще не найти.

Сегодня критика верхов в русской литературе не вспоминается. Между тем, Бердяев именно в характере верхов видел причину Октябрьской революции. Концентрированное выражение бунта против элиты Бердяев усматривал в бунте Достоевского против бога, что лишний раз подтверждает мысль Богданова о связи между религией и иерархией в обществе. Бунт против бога логически ведет к бунту против установленного богом порядка, когда рабочие работают (каждый на своем месте), а элита ими управляет.

Существует легенда, что царь Николай I, посмотрев “Ревизор”, заметил: “Досталось всем, а больше всего мне”. Однако сама русская литература, критикуя в облике города Глупова или села Степанчиково систему в целом, восстание против системы со стороны масс рассматривало совсем не однозначно. Общим местом стало пушкинское: “Не дай бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный”, хотя Цветаева приветствует восстание самого Пушкина против христианского прощения Дантеса (“Мой Пушкин”). Достоевский, убеждающий, что человек – “не фортепианные клавиши”, что человеку нужно “самостоятельного хотения”, и тот человек “феноменально глуп”, который опускает руки перед стоящим над человеком законом, как перед стеной, вместо того, чтобы над ним надругаться, начинает рассуждать до бесконечности, и счастье, что “человек любит разрушение, очень любит”, каприз, который ему дороже всяких выгод¹ – тот же Достоевский пишет “Бесы”. В романе, который также стал общим местом в комплекте аргументов против Октября, писатель ставит в один ряд с нечаевщиной “шпигулинскую историю”, первую крупную стачку в России на Невской бумагопрядильной мануфактуре. Описание “истории”, как какого-то нелепого действия, резко расходятся, даже по

¹ «Записки из подполья»

фактологии, с мажорным рассказом Плеханова о выступлении рабочих в той же стачке, Плеханова, знавшего о ней не из газет.

Пытаясь увидеть “лица в толпе”, подлинный характер тех, кто противостоит либерализму, Тургенев пишет “Отцы и дети”, где сами либералы изображены отнюдь не в светлых тонах. В “Реалистах” Писарев подробно разжевывает, что нигилизм Базарова – честный, умный, творческий нигилизм. Но это неполное понимание того, что хотел высказать Тургенев. Пытаясь помочь тем же народникам увидеть свои собственные ошибки, Тургенев рисует карикатуру на кружок Герцена в “Дыме”, а в “Нови” в качестве человека эпохи – в чисто западном духе и против Достоевского – предлагает капиталиста-преобразователя и строителя новой России.

Чем ближе к революции 17-го года, тем сильнее раскол в литературе и среди литераторов, даже по каким-то тактильно-душевым впечатлениям. Достаточно примера разницы в оценке Маяковского у Цветаевой и Ходасевича. Не принявший революцию Осип Мандельштам восклицает: “Распять Керенского потребовал солдат / И злая чернь торжествовала...” Однако позже он скажет: “Я благодарен революции за то, что она лишила меня пожизненной литературной ренты” – возражение не только аристократической традиции, не только монополии на трактование Библии или “зарегистрировавшимся марксистами”. Это возрождение элитарности по сути, направленное против так называемых культурных людей, которые, по их собственному мнению, впитали в себя опыт предыдущих поколений, постигли ход истории, ее логику. То есть, против того, что так дорого и Ортеге-и-Гассету, и многим российским преподавателям марксизма, у которых почва ушла из-под ног, но остались воспоминания о культурной ренте.

Мандельштам отдает дань и абстрактному, собирательному образу “массового человека”, вознесенного до уровня создателя: “И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый, / Я, непризнанный брат, отщепенец в народной семье, / Обещаю построить такие дремучие срубы, / Чтобы в них татарва опускала князей на бадье”. Подмена в понятии “массового человека” и “выразителя” его воли произошла не только у Мандельштама. И Ахматова, и Булгаков (“Батум”), и многие другие посвящали свои творения не кому-нибудь – Сталину. Позднее “лицо в толпе” приобретает для Мандельштама более конкретные черты: “Его толстые пальцы, как черви, жирны, / А слова, как пудовые гири, верны... / А вокруг его сброд тонкошеих вождей, / Он играет услугами полулюдей... / Что ни казнь у него, то малина...” – в стихотворении, за которое он заплатил жизнью.

Если Нарбут, Багрицкий шли с большевиками, если для многих литераторов имя Сталина обязательно связывалось с неким народным началом, протестом угнетенных против угнетателей, то для Ходасевича, Волошина колебаний относительно оценки революции не существовало. Однако пришествие масс в историю ненавязчиво поделило саму литературу на две ветви. “Антинародническая” идея состояла не в привнесении в темные массы элитарной культуры, а наоборот, во вбирании в литературу даже просто фольклора, но обыденной разговорной речи низов как основы литературного стиля. Напомним, что свободный, чуть ли не разговорный язык Пушкина уж никак не мог быть продолжением стиля его учителя Жуковского, тем более Державина или Сумарокова, а стал результатом чтения похабной “Девичьей игрушки” Баркова в шкатулке дяди Пушкина, куда юный поэт часто любил заглядывать.

Но Пушкин позаимствовал обращение к фольклору не только у баркова, но и у Державина, который разрушал «высокий штиль», вводил в поэзию слова и обороты простонародной речи. Демократизация литературного языка Карамзиным вызвала потоки критики. «Желание... сравнять книжный язык с разговорным... не похоже ли на желание тех новых мудрецов, которые помышляли все состояния людей сделать равными?» — писал реакционер Шишков.

Воздействие фольклора на высокую литературу – в все времена и во всех частях света. Сумасшествие Мартовского Зайца и Шляпника из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» - из английских поговорок. Поговорка mad as a march hare (сумасшедший как мартовский заяц) – из наблюдений за странным поведением зайцев во время весеннего брачного сезона. Поговорка mad as a hatter (безумный как шляпник) проистекает из той поры, когда при изготовлении фетра для шляп, чтобы смягчить войлок, использовалась ртуть. Она отравляла рабочих, вызывая психические расстройства.

О время и после революции классической, “толстовской” ветви остались верны такие мастера, как Набоков, Ходасевич, Булгаков. Совершенно новый язык, исключительный по красоте и воздействию, рождается в рассказах Артема Веселого (в 1983 вышел слегка урезанный роман “Россия, кровью умытая”), Платонова, Бабеля, Замятина, Пильняка. Хотя массовое привнесение оборотов обыденной речи есть уже у Достоевского, “брызжащих бюрократизмов”, по выражению Иванова.

“Перед ревом человеческих сборищ смерть была как песня, жизнь - пустяк”, - говорит санюлот в стихотворении Антокольского. Именно это гипнотическое воздействие толпы на оратора перенесено в поэзию Мандельштама, а позднее Тарковского. Например, первые два четверостишья, своеобразное установление зоны рапорта: “Кто время целовал в измученное темя, с сыновьей нежностью он будет вспоминать, как спать ложилось время в сугроб пшеничный за окном – и далее – тот слышит вечно шум, когда взревели реки времен обманых и глухих” – и вот уже почти стадия восковой гибкости, перципиент слушает только голос врача.

Кажущиеся логическими связи рвутся, проступает косноязычие речи “массового человека”, чуть ли не шаманский атрибут. Поэзию и прозу украшает изобретательнейший, брызжащий, отборный слэнг. Многие критикуют Швейка “за нецензурные выражения”, но если их убрать,- роман сильно обеднеет, вежь ругань – это фольклор – в таком духе высказывается Гашек.

Вместо нивелировки стиль гипнотизера становится все более уникальным, обособленным. В конце концов, язык распадается – бог смешивает языки строителей Вавилонской башни: поэту требуется квалифицированный переводчик, чтобы его понял тот самый “массовый человек”, а литературоведы придумывают «идеального читателя», знакомого со всей мировой культурой.

В отличие от Российской Ассоциации пролетарских писателей, напрямую переносивших быт рабочего человека в искусство, подменявших бытом искусство, советский авангард еще более смещает акцент с “вселенная через меня” на “я во вселенной”. Период многообразия в единстве сменяет время языковой анархии. Очевидно, завершением соединения высокого, метафоричного, подчеркнуто личного стиля и обыденного разговора человека из низов является поэзия 80-х, в первую очередь, Виталия Кальпиди.

Очередное открытие литературой жизни низов (Венедикт Ерофеев, Виктор Ерофеев, Сорокин, Петрушевская и другие, начиная с Вагинова), то есть, тех людей, которые по своей сути, по положению в обществе безлики, точнее, обезличены, вызвало шок и получило имя “чернуха”. Ее не назовешь великой русской литературой, когда о каждом писателе можно было сказать, что через него говорит человечество. Но именно “чернуха” – в который раз – показывает разрыв между элитой и российскими низами. Общественная глухота, следствие этого разрыва, порождает таланты, желающие достучаться до человеческой души всеми средствами, пусть даже с помощью какого-то гипноза.

Но ведь “мир есть описание. А научное описание мира есть язык. И только язык. ... Рассказ в смысле правдоподобной сказки язык в смысле способа говорения, у которого есть свои законы”². Ученик Ильенкова Генрих Батищев специально изучал гомелетику – искусство проповеди. И все же той высоты круга Ильенкова, блистательных Кессиди, Мамардашвили, Зиновьева, “серебряного века” советской философии, их умения излагать глубокие вещи просто, ни Батищев, ни Библер, ни Гефтер, ни другие, рассуждавшие на тему “массового человека” или восстания масс, не достигли. Достигли положенного их таланту – уровня либерализма.

Для Гефтера Россия, как молодая нация – постоянно в роли догоняющего, “маргинала человечества” (т. е. неспособного интегрироваться в сообщество). Может быть, действительно, народничество, как следствие разрыва общества “полам” более высоких культур – специфическая черта России, как и характер антагонизма между элитой и массами? Бердяев, как мы знаем, не признавал русскую революцию. В отличие от западных, она, по его мнению, излишне радикальна, максималистична, незаконна, что ли, и уж точно – безбожна. С одной стороны массы – варвары, с другой – ничего не умеющая делать интеллигенция. Бердяев не против выступлений масс вообще, но если протестовать, то культурно, с уважением к римскому праву, собственности. Совсем в духе Константина Пастушенко, лидера пермского стачкома учителей, сформированного официальным профсоюзом. “Конечно, возмущаться нужно, - говорил Пастушенко перед забастовкой учителей, - но... культурно...” – после того, когда по отношению к учителям поступили некультурно, и незаконно, и безбожно. Стоит почитать эту вершину философской мысли – “Истоки и смысл русского коммунизма” Бердяева, где для себя, как русского интеллигента, он, кажется, нашел верное определение.

Коль скоро специфика России – в отсталости, лени, неуважении к закону, Максимилиан Волошин предлагает схему поведения российских низов:

Еще безумит хмель свободы
Твои взметенные народы,
И не окончена борьба, -
Но ты уж знаешь в просветленьи,
Что правда Славии в смиреньи,
В непротивлении раба;
Что искус дан тебе суровый
Благословить свои оковы...

Интересно, что понимал Волошин под “Славией”? Неужели и себя тоже? То есть, самосожженец, подобно Блоку? Только во имя чего?

Не столь склонный к самобичеванию Ортега-и-Гассет, повторяя тезис о необходимости “мирного сосуществования” со своим врагом, конкретизирует, что речь идет о массе, а не о нации в целом, и распространяет “правду” о смирении на массы всех наций. “Действовать самовольно, - пишет Ортега, - означает для массы восставать против собственного предназначения... В хорошо организованном обществе масса не действует сама по себе. Такова её роль. Она существует для того, чтобы её вели, наставляли и представляли за неё, пока она не перестанет быть массой или, по крайней мере, не начнёт к этому стремиться. Но сама по себе она осуществить это неспособна. Ей необходимо следовать чему-то высшему, исходящему от избранных меньшинств”.

Не нужно объяснять, что эти слова вполне можно отнести и к Эдуарду Бернштейну, и к разноликим троцкистам, и к российским современным социал-демократам, и к КПРФ, и к российским (старым и новым) профсоюзам, несмотря на то, что представители этих организаций считают себя противниками друг друга.

Нет никакой специфики, уверяет Ортега. – “произошедшее в России исторически невыразительно (! Б. И.) и не знаменует собой начала новой жизни. Напротив, это монотонный перепев общих мест любой революции”. В

² М. Мамардашвили, «Картезианские размышления»

качестве “исключения” он приводит Английскую буржуазную революцию, но в ином плане: “... Англия, даже в XVIII веке, была беднейшей страной Европы. Это и спасло британскую знать. Нужда заставила ее... жить созидательно”.

То есть, восстания масс по причине отсталости – отнюдь не привилегия России. Более того, выращенная за годы сталинизма советская знать тоже была вынуждена заниматься “таким... неблагоприятным занятием, как торговля и промышленность”.

Народничество также вряд ли можно внести в список национальных отличий, хотя западные миссионеры предпочитали, по большей части, действовать в одиночку. Дело в том, что антиэлитарные настроения – это не только характерное качество “массового человека”, здесь причину регулярно путают со следствием. Причина – в качестве самой этой элиты. Например, Вернадский, член партии кадетов, вспоминает: “... И передо мной промелькнул Государственный совет, где я мог наблюдать отбор “лучших” людей власти... Не было... ни блеска знаний и образования, ни преданности России, ни идеи государственности. В общем – ничтожная и серая, жадная и мелкохищная толпа среди красивого декорума”. (“Страницы автобиографии В. И. Вернадского, М., 1981”)

В свою очередь, защитники элиты не стеснялись выражениях по поводу низов. Историки И. Тэн, Э. Бэрк крестили тех, кто штурмовал Бастилию, “канальями”, “ворами”, “разбойниками”. Времена меняются. Раньше говорили “разбойник”, “бандит”, потом – «голытьба», «матросня», «беспорточники», сейчас говорят “массовый человек”.

С другой стороны, должна быть почва для того, чтобы состоялось народничество или любая другая реакция общественного организма на резкий разрыв и противостояние верхов и низов после воздействия внешних причин. И нельзя сказать, что, например, Ортега-и-Гассет в нравственной оценке тех, кто помогает массам организоваться, их лидеров, уподобляется старым реакционерам, что видели нравственность и закон лишь в богатстве или сословном положении. “Разумеется, высшему классу легче выдвинуть человека “большой колесницы”, чем низшему, - пишет он в “Восстании масс”, - Но в действительности внутри любого класса есть собственные массы и меньшинства. ... плебейство и гнет массы даже в кругах традиционно элитарных – характерное свойство нашего времени. Так, интеллектуальная жизнь, казалось бы, взысканная к мысли, становится триумфально дорогой псевдоинтеллигентов, не мыслящих... Ничем не лучше останки “аристократии”... И, напротив, в рабочей среде, которая прежде считалась эталоном “массы”, не редкость сегодня встретить души высочайшего закала”.

Ясно, что у Ортеги свое понимание закона и элиты, к чему мы еще вернемся. Но в приведенной цитате Ортега останавливается на уровне факта и не собирается смотреть *за* него. Вот его “импрессионистское”, отождествляющее явление с сущностью, восприятие организаторов масс; смешивая большевизм, синдикализм и фашизм, он пишет: “... большевизм и фашизм... представляют собой движение вспять. И не столько по смыслу своих учений – в любой доктрине есть доля истины... - сколько по тому, как допотопно, антиисторически используют они свою долю истины. Типично массовые движения, возглавляемые, как и следовало ожидать, недалекими людьми старого образца, с короткой памятью и нехваткой исторического чутья...”

Будто из упомянутого романа “Отцы и дети” повеяло: “Ах, как они вульгарны!” Но массы всегда таковы, какие есть. И это их дело, кому они поверили и поставили своим вожаком. И до того момента, пока вождь сам не станет для своей массы элитой, нравственное право, казалось бы, всегда на стороне восставших низов и их лидеров. “Я уважаю в Ленине человека, - говорил Эйнштейн, - который всю свою силу, с полным самопожертвованием своей личности, отдал делу достижения социальной справедливости; люди, подобные ему, являются хранителями и обновителями совести человечества”.

Впрочем, очевидно, что недемократические взгляды крупных писателей – не частность. Они честно пытаются не представлять “угнетенных” как пустую абстракцию, увидеть “лица в толпе”. При этом далеко не редкость, когда они из двух зол – верхов и низов – предпочитают “элитарное” зло. И в этом пункте уже сама история предстает как пустая абстракция, пусть дама не в очень чистых перчатках, но более менее. Ортега, например, не против преодоления зла либерализма, но предлагает преодолеть либерализм не отрицанием, а поглощением, вбиранием в себя, т.е. в дуэте генетической преемственности верхов, либеральной традиции. Но ведь и Маркс, и Ленин убеждали в том же самом. Другое дело, что классики не ограничивались этим, предлагали преодолеть и “массового человека” его поглощением, в духе традиций самого “массового человека”.

Это же относится и к фашизму, не правда ли? Совершенно бесполезно восклицать: “Фу”. Оружие критики не заменило критику оружием, но остался рецидив, значит, сохранилась причина. Которая преодолевается не критикой слабых, отрицательных чувств в мещанском, обывательском стиле (“Ах, они вульгарны!”), напротив, пожиранием ее наиболее сильных сторон. Замечательный момент есть в картине Элена Климова “Иди и смотри”. Партизаны захватывают в плен только что уничтоживших село фашистов. Один из них тут же начинает говорить традиционное – “славяне низшая раса” и т.п. Кто-то тут же пытается расстрелять пленных, но перед тем, как расстрелять, командир отряда приказывает: “Слушать!”

То, что не пускают в двери, входит через окно. Можно сгибать, подобно Гете, спину перед королем, восхищаться Сталиным, как Фейхтвагнер, или писать в газету “Правда” в 1937-м “Я – с правительством СССР!”, как Ромен

Роллан. Но если действительно рассматривать “массу” не абстрактно, то можно увидеть, что ее взаимоотношения с элитой совсем не таковы, как хотелось бы Бернштейну или Ортеге. Даже на иконах Андрея Рублева не всемогущие и непостижимые боги, а обычные человеческие лица с их страданиями и радостями. Возможна была бы иконопись Рублева, если бы он не перевел (по русской привычке) карающий, законополагающий (элитарный!) византийский стиль Феофана Грека на язык чувств простых людей? Могла ли состояться великая латиноамериканская литература – Кортасара, Карпентьера, Гарсия Маркеса – в странах отсталых, как и Россия, без “антинароднической” идеи вбирания разговорной речи, вообще без “массового человека”? Случились ли бы умнейшие герои Фолкнера, бестселлеры Мерля и Хеллера, построенная из газетных вырезок “Затоваренная бочкотара” Аксенова?

Грешно неспециалисту высказываться о литературе. Еще грешнее приводить текст, утыканный цитатами, что явно не может служить доказательством чего-либо. Да и какая разница, как высказывался на тот или иной счет кто-либо из великих (или невеликих), ведь не в высказываниях или пророчествах дело! Дело не в словах, нельзя в рассуждениях, следуя Сократу, искать объективность нравственных норм. Суть не столько в объяснении мира (повторим известный тезис Маркса о Фейербахе), сколько в изменении его. “Ничто не порождается моральной оценкой, - говорит Мераб Мамардишвили, - ... в мире Декарта нет морали. Как нет ее и в мире Пруста или в мире Фурье. ... Но, разумеется, не в том смысле, что нет добра и зла. ... Нет морали в том смысле, что для Декарта существует лишь мир свободного испытания и борьбы; вот в нем окажись мужественным, честным и свободным. Пройди. Потому что до прохождения ничего нет, и тебя самого нет. И никаким моральным диктатом нельзя вызвать к жизни кого бы то ни было в качестве свободного субъекта – носителя нравственности”.

Увы, не видно пока никакой специфики России. Тяжеловесен (и бессодержателен) Грамши, определивший, что “в странах, где существует единая тоталитарная правительственная партия... политические вопросы принимают форму культурных”. Примитив XX века состоит в том, что “свободная, надклассовая” культура, вместо того, чтобы показать, что со времен Маркса – Ленина прошло столетие, без всякого сомнения мелконько и грязненько прислуживает деньгам и власти. И так в любой стране. В любой стране у культуры политическая подоплека. “Пожалуйста, - говорит миллионер Жванецкий, - избавьте нас от заботы о вас, попытайтесь стать богатыми самостоятельно!”

Всю российскую культуру пытаются использовать в качестве аргумента против Октября, как оружие в политической борьбе. Искусство и средства массовой информации сохранились. Сменилась лишь форма глупости, форма несвободы. Сохранилась генетическая преемственность, сталинская традиция. Разве что “угроза международного империализма” перешла в “общечеловеческие ценности”. Ничего нового под луной не возникло.

ЕВРЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Современному обывателю, очевидно, наиболее адекватно (не сравнится даже знаменитое ерофеевское «при...тость») слово «тупорылый». Иначе невозможно охарактеризовать логику, которая, с одной стороны, объявляет социализм утопией, с другой всё существующее – социализмом.

Обескураживающая избирательная кампания провоцирует неутолённую жажду назвать основную пену вынесенных на поверхность водоворотом человеческого горя компетентных избранников народа этим словом. Да, тем самым, которое выдвигается в качестве фундаментального обвинения всему большевизму, из известного ныне целому миру письма Ленина Горькому.

Трудно было ожидать от русской (советской) интеллигенции такой образности, однако ее мелочность в выборе средств заставляет думать не столько об интеллекте, сколько об определённом корыстном интересе, для какового в очередной кампании оболванивания насчёт коммунизма все средства хороши, даже примитивная подтасовка.

В одном из последних «Огоньков» 1990 года в статье Ильи Константинова «Киббуц» описываются израильские коммуны. Эти коммуны, естественно, социалистические, или коммунистические, не столь существенно.

По всем СМИ прокатывается «марксистская утопия», здесь же Маркса оставляют в покое, зато тревожат вечный покой Чернышевского:

«А социализм? Тут всё оказалось сложнее. Киббуц – это, конечно же, социалистическая, даже коммунистическая ячейка, почти такая, как она была описана в социалистических утопиях. Помните сны Веры Павловны в романе Чернышевского «Что делать?»? мы их осуществили...».

Коммуны - не только в Израиле. Но и в США, и в Канаде, и в Индии. Но коммунизм-то здесь причем?

Константинов подчёркивает, насколько в киббуцах чтут Ленина, Маркса, а Маркс - еврейского происхождения. Поминает Константинов и Достоевского.

Долгое время националисты пытались пользоваться великого писателя, затаскивая его в свой стан как антисемита. Но Достоевский вовсе не был антисемитом!

А евреи в коммуне, наводит на мысль Константинов, живут весьма обеспечено, гораздо лучше, нежели в Союзе, это даже своеобразная израильская элита, донирующая adeptов в правительство. Всё прекрасно в киббуце, проблемы, разумеется, есть, где же их нет, благосостояние, производство на высшем уровне, однако, чего-то не хватает... какой-то мелочи... Не хватает у киббуцников, если следовать логике Константинова, свободы личности, русской мелочи...

В киббуцах живут 3% населения Израиля и 20% материального производства страны. Почему так мало народу в киббуцах, ставит вопрос Константинов. И тут Достоевский наносит решающий удар – по коммунизму, Чернышевскому? Марксу?

«Старый киббуцник Бен Саул не случайно вспомнил Чернышевского. Приснившиеся его героине сады и плантация, совместный разумный труд и совместные весёлые трапезы – всё это я видел воочию. Но, знакомясь со всем этим, я вскоре вынужден был вспомнить героев Достоевского.

- Мы можем дать человеку много выгод, - сказал мне однажды ветеран движения. – Киббуц уже сегодня даёт своим членам лучшую квартиру, чем он мог бы приобрести за стенами поселения, лучшую еду, лучшее образование. Только одну вещь киббуц не может дать – иллюзии. Выходит, что они дороже человеку, чем его выгоды?

Мог ли я не вспомнить «Человека из подполья»? и я спросил: - А вы уверены, что рассчитали правильно все «выгоды»? С чего это вообразили, что человеку надо непременно благоразумного выгодного хотения? Человеку надо одного только самостоятельного хотения, к чему бы оно ни привело. Он может захотеть для себя нарочно, сознательно и чего-то вредного, глупого. Каприз может быть выгоднее всех выгод.

Мой собеседник смотрел на меня во все глаза, видно было, что эта мысль его поразила и что она ему не чужда.

- Вы так думаете? – спросил он.

- Не я так думаю, а так думал Достоевский. И написал об этом за полвека до рождения первого киббуца».

И далее: «Какой же вывод можно сделать из всего этого? Признать, что только 3% обычных, «нормальных» людей пригодны для жизни в коллективном устройстве, основанном на идее равенства? Смириться с коммунизмом для трёх процентов и перестать придумывать способы идеальной регламентации, которая распространит разумный образ жизни для всех?»

Между тем Достоевский в «Записках из подполья» (всё же «Записках», а не в «Человеке») восставал не против идеи равенства как отсутствия классов (наоборот!), ныне принято сознательно путать коммунистическую идею равенства классов и нелепую доктрину равенства людей.

И не против идеи коммунизма, а против фатализма, то есть, понимания закона как жёсткой однозначной равносторонней связи, которая ничего общего даже с диалектикой не имеет.

Уточним немного. Достоевский говорил не об иллюзии, а о надругательстве над стоящим над человеком законом. В том числе экономическим (а в число примитивных «выгод» включал свободу, очевидно, в смысле праздности). Кстати, и революция есть надругательство над законом, унижающим человека. Достоевский не принимал сведения человека к набору регламентаций, к «табличке». «Ведь глуп человек, глуп феноменально», - пишет Достоевский. О ком он пишет? О тех, для кого стоящие над людьми законы рынка – стена (вспоминаете?), перед которой со спокойной совестью можно опустить руки. «Но человек любит разрушение, очень любит!» Каприз любит. Который ему дороже всех выгод!

Человек, говорил Достоевский, не «фортепианные клавиши». Если свалить всё на независимые от воли законы природы, причём здесь человек? А Константинов желает перенести, оправдать грязь человеческой души грязью товарно-денежных отношений, вечных для либерала «табличек». Это лишь многостороннее, и только лишь. Экономика не может быть здоровой, если усиленно легализуется грязь со дна человеческой души. Какие качества проявлены в человеке – такова и экономика.

Разумеется, если категория стоимости кажется такой же наличностью, как масса или заряд, тут, конечно, стена, перед которой можно со спокойной совестью опустить руки (впрочем, и здесь вопрос сложен, Сократ его попросту отказывался решать). Однако автор этих строк никогда не видел стоимости и не имел чести беседовать, а также измерять в эксперименте как качество, имманентное предмету. Закон стоимости не дан обществу как нечто внешнее, космическое, вечное, вроде гегелевского государства. Он прокачан через общество и осуществляется как конкретная деятельность конкретных людей. То есть, теоретически задачу о надругательстве над ним можно решать до бесконечности, как справедливо заметил в тех же «Записках» Достоевский. Люди же (например, Маркс, Ленин, да и не только материалисты) начали решать его практически.

И ещё одна деталь. Стало быть, Константинов согласен, что человеку надо самостоятельного хотения. Стало быть, благосостояние не есть коренной интерес рабочего класса, как уверяет нас президент? А, следовательно, и овладение политическими рычагами управления для осуществления этого хотения – задача честная и благородная. Чувствуете, речь о революции?

Было время, в российских СМИ критиковали письмо рабочего, который сомневался, что профессор сможет выразить интерес рабочего за рабочего. Стало быть, демократы - против самостоятельного хотения рабочего класса. Либералы предполагают самостоятельное хотение для себя: кесарю кесарево, а слесарю слесарево, СМИ, академики – личности, а рабочие – нет. Что ж, вполне корыстный интерес.

Оставим в стороне иллюзию возможности объяснить предысторию (историю) иллюзиями (идеями) как случайным над базисом. Коммунизм – это не всеобщая итальянская забастовка, следовательно, ни о каком регламенте, идее, привнесённом извне, не может быть речи. Коммунизм – когда беззаконие, надругательство над законом обезличивающим возведено в закон. Всеобщая анархия, а отсюда – всеобщая деспотия (у Достоевского в «Записках) – тирания, тирания любви), однако, не в извращённой азиатской или любой монопольной форме, а полифония деспотий творческого, уникального, неповторимого, а, следовательно, «беззаконного», поднявшегося над обезличенным родовым.

Коммунизм есть многообразие практически реализованных иллюзий, каждая из которых, даже ганечкина денежная страсть, по общим законам полифонии начинают, сбрасывая с себя азиатскую извращённую форму, на мгновение звучать соло.

Свобода – для кого угодно, но это абстрактная свобода. Ни один демократ ни один либерал никогда не потребуют ни освобождения труда, ни освобождения рабочего от черного, тяжелого, монотонного, обезличивающего (Маркс) труда.

В 3-м томе «Капитала Маркс пишет, что коммунизм – это уменьшение времени для общественно необходимого труда до исчезающе малой величины, вследствие развития производительных сил. Это ошибка. Но у Маркса есть то, чем исправить Маркса. В «Критике Готской программы» он пишет, что социализм – это процесс ликвидации противоречия между физическим и умственным трудом.

Стоит ли напоминать, что в СССР вместо этого рабочий класс – в виду отсталости России – не исчезал, а рос в численности, при этом Сталин в своей работе «Экономические проблемы социализма» отрицал противоречие между физическим и умственным трудом, ссылаясь на то, что интеллигенция в СССР сотрудничает с рабочими.

Творческое – вот позитивный интерес рабочего класса, ставшего из класса-в-себе классом-для-себя, а затем классом-для-иного, почувствовавшего, что угнетает не столько изъятие прибавочной стоимости, сколько отстранение от управления ей, не столько низкая зарплата за труд, сколько сам обезличивающий труд.